

О массовом искусстве

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Благодарность или тёмная страсть?

На седьмой день —
после того, как из бесформенной глины
я сотворил
свою землю и небо,
своё солнце, свои звёзды и луны,
своих птиц
и даже своё подобие, —
мир, мною построенный,
уже был готов к осаде.

И я,
как всякий усталый бог,
спокойно стал ждать появления
своего первого
атеиста.¹

Дорогой, Алексей, это я цитирую болгарского поэта Здравко Кисьова.

Цитирование — в тему. Я не раз размышлял о том, что происходило с пассажирами известного ковчега после его прибытия к горе Арарат. Я это сейчас не о зверях, птицах, рыбах и других проворных существах, я о человеке, которому всегда, во все времена было чем заняться. Я о троглодитах, пещерных жителях, которые при всей своей ужасающе трудной короткой жизни успевали оставить чудесные изображения оленей и мамонтов на стенах темных пещер, о первых умниках, наблюдавших звезды, создавших не только хитроумные ирригационные системы, но и письменность; наконец, я о том, что заставило людей не просто придумать Слово и Число, а всюю использовать Слово и Число не просто для бухгалтерских нужд, описей, судебных дел, указаний, законов, но и для сочинений, страшно сказать, *художественных*. Ведь, что

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик.

¹ Перевод Геннадия Прашкевича.

ни говори, а «Книга мёртвых» (древний Египет), «Полёт Этаны на небеса» и «Гильгамеш» (Шумер), «Рамайна» и «Махабхарата» (Индия), весь Гомер, весь блеск веков, представленных великими поэтами, художниками, трагиками, обогатил, изменил, преобразил мышление человечества не только глубиной и эстетикой, но и массовостью своего производства.

Я называю первые пришедшие в голову имена, а ведь их так много, что Уильям Сароян в одной из своих статей с изумлением писал о том, что нет, видимо, ни одного места на Земле, которое не было бы отмечено проявлением поэтического таланта. Узнай я, писал Сароян, что существует где-то деревушка, в которой за тысячу лет ее существования не родилось ни одно увлеченное поэзией существо, я бы бросил все и полетел туда, чтобы увидеть, понять, осмыслить как, почему такое могло случиться?

Отсюда мой вопрос, Алексей.

Что толкает самого обыкновенного в сущности человека вдруг откладывать в сторону рабочий инструмент и *петь песнь*, как выражались древние? Медведь наступил человеку на ухо, а он сочиняет высокую музыку, слово плохо дается, рука выводит неверные линии, а он упорствует, дерзает, ему это надо, он пытается поразить себя и соседа, может даже думает о большем. Да, Господь создал нас по своему образу и подобию, но это же не значит, что самый потрепанный бож после недельного запоя должен брэнчать на лире и поминать Его имя всеу.

Я живу в мире литературы. В нем действуют те же законы, что везде вокруг, каждому приходится трудиться, а не просто бродить по значным поэтическим полянам с венком лауреата на голове.

Сегодня — солнце. Мы в карантине.

Медленно идет солнечный апрель 2020 года.

Имена великих все знают, буду говорить о малоизвестных.

Вот история некоего Савела Харина, был на Крайнем Севере такой художник-любитель (так он себя называл). Бородатый, как старообрядец, замкнутый, строгий, повидавший лиху, поскольку на север попал в конце тридцатых, сам этого не желая, а потом, получив волю (условно, с поражением в правах) остался навсегда под теми же низкими северными небесами.

Отсидел, вышел честный.

Доверили Савелу продуктовый ларек.

Поскольку начальство в тундре появлялось редко, освобожденный мозг Савела Харина всю работу: свою лавку он объявил коммунистической, то есть, вот вам, сами этого хотели: никакого лишнего контроля, почти полное доверие, все люди небогатые, друг друга знаете, так что, приходите, берите все, что вам нужно; рассчитаетесь, когда сможете.

И приходили, брали.

Иногда даже рассчитывались.

Но придирчивым советским ревизорам смелое начинание Савела не пришлось по душе: недостачу из него, понятно, вытрясли, и, поскольку открытого вредительства в произошедшем не усмотрели, отправили Савела заведовать Красным чумом — в другой полярный поселок, в новую жизнь. Именно в *новую*, поскольку там суровый Савел, до того росший просто, как гриб, вдруг открыл для себя искусство, точнее, живопись, или, еще точнее, то, что он сам считал живописью.

На Красный чум приходило несколько иллюстрированных журналов.

«Огонёк», «Красная нива», еще что-то. Понятное дело, доставляли их самолетом, бережливо. Считалось, грамота нужна людям даже безграмотным. Вот в тех

замечательных журналах Савел и увидел впервые «Трёх богатырей» и несчастную «Алёнушку», и печальную картинку «Не ждали», и красивую «Девочку с персиками». Подозреваю, что Савел увидел не просто Алёнушку, богатырей или какие-нибудь необычные поэтические мостки над неизвестным озером, он увидел нечто, в самое сердце поразившее его, нечто такое, от чего в жизни что-то осветилось, до того неведомое. Можно назвать это божественной искрой, правда? И это ввело сурового Савела в непреходящую эйфорию. Он принимал все. Любая картинка приводила его в восторг. Смазанная репродукция какого-нибудь самодеятельного живописца К.Притыркина из села Ковчуги и голая (обнаженной не назовешь) русалка на потрескавшейся технической клеенке порождали в его душе бурю, не меньшую, чем батальные полотна Василия Верещагина или «Брахмапутра» кисти Николая Рериха.

Но скоро посетители Красного чума начали обижаться.

Однако приходили они к Савелу, с претензиями. Однако где картинки из наших журналов? Мы их выписываем, деньги платим. Раньше в «Огоньке» и «Красной ниве» были картинки, а теперь только дыры от ножниц. А когда картинок нет, текст читать сложно. Кто вырезает самое интересное?

Савел объяснял: это я свою комнату украшаю картинками.

И самым наглым образом заявлял: приходите в гости, сами увидите.

Да, заявлял он, выписываете вы журналы, но эгоистично — только для себя, а ко мне каждый может прийти и увидеть. Можете называть мою комнату Домом радости. Мне радостно. Любуйтесь, какое у нас великое искусство! А то живешь, живешь, а вокруг только северные сияния...

Савелу возражали: платим *мы*.

Савел возражал: а я *для всех* собираю!

И открывал перед возмущенными подписчиками свою небогатую комнату.

Да, небогатая, полупустая, зато стены от плинтусов до потолка обклеены множеством журнальных репродукций, среди которых и портреты вождя были, не без этого, орать перед портретом вождя не станешь. Вот, показывал уважительно, ваши картинки, темные вы люди, никуда картинки не подевались. Входите и любуйтесь. Все собраны в одном месте, а дома вы даже на самый интересный журнал рано или поздно будете ставить закопченную кастрюлю. Вот смотрите, летает по воздуху мужик в рубашке и лаптях, сугубый ангел, другой такой же скромно оправляется под забором. Это *искусство*, темные вы люди. Это художник Шагал рисовал. Бывший чекист. Видите, его голубые мужики не лаются с завом Красного чума, а просто летают по небу. В лаптях летают, не скрывают ничего, в одних нижних рубахах. Может, это уже коммунизм, подумайте.

Савел убежден был в своей правоте.

Тем не менее Красный чум у него отобрали.

Правда, к тому времени слух о невероятной коллекции Савела, обрастая лохматыми деталями, облетел всю тундру. Известный художник (обойдемся без имен), прилетевший из Красноярска, явился к Савелу знакомиться. Втайне он ждал чего-то *художественного*. Втайне он всякого ждал, даже самого худшего, но комната Савела все равно его поразила. Было в ней пусто. Стол, лежанка, буржуйка с жестяной трубой, встроенной в окно, вот вся обстановка. Зато стены действительно густо обклеены цветными репродукциями. И художник Шагал соседствовал на этих стенах с художником Герасимовым, а никому неизвестный мазила Фирсов — с репродукциями рисунков Лермонтова.

«Где система? Где вкус?» — ужаснулся художник.

«Какой, однако, вкус?» — обиделся Савел. И добавил снисходительно: «Смотри, как красиво. Душа поет! Мне в Уэллене на смотре художественной самодеятельности премию спиртом дали. Садись, будем говорить об искусстве».

Поупиравшись, художник все-таки сел за стол. Выпили.

После третьей Савел признал: «Однако ты что-то знаешь».

И потребовал: «Рассказывай». И в процессе рассказа ужасался, высоко руки над головой вскидывал. Он же думал, что искусство — это просто красивые картинки, а оказалось, что искусство — это стили, направления, непрестанная борьба, даже классовая, чистые и нечистые, как везде. Как тут понять, почему конфетный фантик с медведями не является таким же произведением искусства, как «Утро в сосновом бору»? Придумал-то все равно Шишкин.

Поссорился с художником.

А я понимаю Савела Харина.

Я не раз вспоминал замечательного Савела на пустынных Курилах, за обрубистыми мысами, где крутились холодные течения, смеялись сивучи, а лопухи забивали заброшенные кладбища. Океан катал по песку обросшие ракушками пластмассовые поплавки, вода взрывалась под застывшими лавовыми потоками, мощно взрывалась и отступала, а над одинокими кекурами кричали чайки.

Я вспоминал Савела в выжженных Кызыл-Кумах. Там колодец на краю пустыни. Там синее, будто глазурированное небо и гигантский чинар, торчащий, как взрыв. Там поэт Амандурды, тощий, с козлиной бородкой, неторопливо жевал табак и струилась в бездонном небе золотая звездная пыль.

Много где я вспоминал Савела Харина, пытался понять, почему его, такого сдержанного, восхищали летавшие по небу шагаловские мужики в лаптях? Почему голая синяя русалка вызывала у него слезы искреннего умиления? Прекрасно представляю Савела в пещере среди троглодитов, он ведь сам по себе (в известном смысле) был троглодит. В пещерное время, в тот редкий час, когда сытое племя валялось на шкурах при свете коптящих факелов, именно Савел, один Савел мог заявить, что прямо завтра, наконец, снимет проблему пещерной тьмы. Как? Да очень просто. Он знает гору такую высокую, что с нее легко можно достать Солнце копьём. Вот он и подхватит на копые Солнце и притащит его в пещеру, всем будет свет.

В своей жизни я много встречал таких Савелов.

Одни сочиняли стихи, другие пытались рисовать, третьи резали по дереву или писали музыку. А кто-то вышивал крестиком, лепил из глины. Неважно, где это совершалось — в тундре или в столице, в Уэллене или в Новосибирске. Красота, в чем бы она ни выражалась, даже самая бедная красота, действует на всех. При этом она может оставаться чрезвычайно противоречивой. В некоторых странах женщинам специальными кольцами неестественно удлиняли шею, в других — доводили их ступни до совсем крошечного размера. Мучительно? Да. Зато красиво. Целые народы снимались с насиженных мест, потому что вдруг доходила до них неожиданная весть: где-то на дальних реках, за дикими озерами есть места более удобные, более красивые. Лев Эммануилович Разгон однажды (в Переделкино) рассказывал мне, что самые прекрасные закаты в своей жизни он видел над глухим лагерем Уствымлага, в котором в свое время тянул срок. Разве не противоречиво все это? Вот и мучаюсь, Алексей: как все понять? Как благодарность тому, кто дал тебе возможность остро и жадно ощущать мир, или как темную страсть, протестующую против навязанной тебе свободы выбора?

Алексей Буров

Сущее и должное

Природа переполнена зримой красотой, дорогой Геннадий Мартович, смотри и смотри — никакой жизни не хватит рассмотреть и малую толику ее. Но человеку этой бесконечной красоты все ж недостаточно; он стремится дополнить ее своими картинами и скульптурами, и несопоставимость масштабов природы и искусства его ничуть не останавливает. Одних лишь созерцаний природы, сколь бы ни была она великолепна, нам мало. Мы хотим, чтобы красота не только входила в нас, но и происходила от нас, пусть даже на манер Савела Харина. Если не по силам расписать пещеру быками и конями, то хотя бы оклеим комнату вырезками из «Огонька». Кто хоть раз угостил друзей обедом — уже почувствовал себя Цезарем, гласит римская пословица. Савел Харин угощал односельчан чем-то несравненно более высоким и удивительным, чем какой-то обед — невиданной красотой летающих мужиков и безмятежных русалок. Не Цезарю уже он уподоблялся, а Аполлону, покровителю искусств и предводителю муз. Вот на какие эмпиреи взлетала его благородная душа, увлекая за собой любознательных красночумцев.

Научно определить или измерить красоту нельзя, но можно попробовать сказать о ней нечто важное. Красота влечет, но иначе, чем пища — голодного, ложе — уставшего, тепло — продрогшего, общение — одинокого, слава — честолюбивого или богатство — алчного. Хотя все эти влечения и могут облекаться в некие прекрасные образы, в их основе — базовые желания биологического или социального порядка. Иными словами, все они связаны с тем, что в старину относилось к *земному*. Прекрасное, однако же, увлекает иначе, служение ему в основе своей бескорыстно, оно не ради земного и его целей. От земного оно требует жертв, говорит о себе как о святом, небесном, божественном, о чем-то предельно высоком, чему можно лишь служить, но не ставить его на службу. Это небесное начало пронизывает природу, весь дольний мир, переплетаясь с инстинктами жизни, содействуя им и конфликтуя с ними. Особенной остроты и энергетики отношение земного и небесного достигает в эротическом влечении, соединяющем в себе инстинкт продолжения рода со стремлением к небесному. Мудрая Диотима, учившая молодого Сократа, говорила об Эроте как о могущественном демоне, побуждающем рожать в красоте, понимая такое рождение весьма широко. Именно Эрот побуждает художников или философов искать новых учеников и учителей, дабы в этих союзах рождались прекрасные произведения искусства или мысли.

Стремление к красоте лежит не только в основе искусства, но и математики, и математической физики. Особого рода эстетика элегантных узоров вечных идей — вот в чем было величайшее открытие Пифагора, вот почему он подлинно есть отец

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

математики. Культ этой эстетики, ее трансляция через поколения — в этом всегда состояла и состоит наиглавнейшая задача математических школ. «Некрасивой математики не существует», — твердо отчеканил видный английский математик прошлого века Годфри Харди. Разумеется, немало написано формул, красотой не блещущих, но написаны они не ради самой математики, а ради ее технических приложений. Не только математика сама по себе, но и основы математической физики были заложены пифагорейцами, до такой степени восхищенными математической элегантностью, что уверовали: сам природный мир в основе своей задан ею же. Удивительным образом они оказались правы в такой степени, что вряд ли снилось не только Ньютону, но и Максвеллу. Математика, порождаемая весьма особенным стремлением к красоте, оказалась лежащей в основе фундаментальных структур Вселенной. Эти структуры, которые человечество начало открывать лишь четыреста лет назад, оказались глубоко антропоморфными, исключительно согласованными с человеческими представлениями о красоте узоров идей и способностью описывать такие узоры. Плоды этой эстетики настолько мощно изменили цивилизацию, породив научно-техническую революцию, что фраза Достоевского «красота спасет мир» уже обязана учитывать и это измерение красоты, о котором Фёдор Михайлович, кажется, никогда не задумывался¹.

Я, однако же, отвлекся от предложенной вами темы массового искусства, Геннадий Мартович: математика, конечно, к таковым и близко не относится, ни в одной стране, хотя ее везде и учат, притом в обязательном всеобщем порядке. Эстетический смысл математики от масс сокрыт, о нем даже мало кто слышал, и математика, как была при Пифагоре, так и остается донныне одним из самых элитарных, неизвестных искусств. С приложениями ее произошла великая революция, они фантастически множатся с каждым днем, что, однако, еще вернее скрывает ее древнее ядро. Возвращаясь все же к заданной теме — что же располагается на массовом полюсе искусств, каковы наиболее популярные произведения искусства? В Соединённых Штатах, где я живу уже более двадцати лет, самой читаемой книгой, и с большим отрывом, является старинный сборник историй и наставлений под названием «Библия». Такой она была для первых колонистов Нового Света, такой остается и теперь. Из весьма богатой статистики чтения Библии отмечу лишь, что около половины американцев открывают Библию не реже двух раз в месяц. Читают ее, как правило, не ради развлечения, не ради любопытства, не ради исторических или природоведческих фактов, но как настройку на вечную мудрость и как источник силы духа. Библию не только читают дома, но и слушают и обсуждают в храмах. Библия — не только текст книги, но и основа проповедей, другого массового искусства. Лучшие проповедники — люди глубокого философского ума, разностороннего образования, мудрости и благородства души. Таков, например, католический епископ Лос-Анджелеса Роберт Бэррон, чья популярность как христианского мыслителя и проповедника уступает разве что Великому Понтифику. К сотням переводов Библии на английский язык епископ Бэррон решил добавить еще один, свой, иллюстрированный и прокомментированный по его вкусу — и нет сомнений, что эту книгу ждет большой успех. Первый том бэрроновой Библии выходит через месяц. Великолепнейшим

¹ В действительности фраза эта принадлежит не Достоевскому, а одному из его героев — пьяному и восторженному Мите Карамазову, который выкрикнул ее в разговоре с братом в приступе любовной экзальтации (*прим. ред.*).

проповедником был покинувший на днях этот мир Рави Захариас, евангелический христианин родом из Индии, ставивший на первое место среди человеческих стремлений жажду истины и смысла. Что такое современная проповедь? Она должна обращаться к умам и сердцам слушателей, колеблющихся и исполненных сомнений, она должна быть откровенной и глубокой, убедительно отвечать на самые острые вопросы, ни от чего не уклоняясь, находить новые сильные аргументы. Такой она и является в устах лучших проповедников. Помимо того, текст Библии и ее бесчисленных комментариев дополняется мощными иллюстрациями на стенах и витражах величественных католических соборов, в коллекциях музеев, на страницах книг, дополняется глубокими фильмами и музыкой. Джон Толкин, чью биографию вы недавно выпустили, Геннадий Мартович, писал, что в его книгах нет ни единой прямой отсылки к Библии, но они насквозь католические. Не зная Библии, нельзя понять ни прошлого, ни настоящего не только Штатов, но и Западной цивилизации в целом. Историк физики Геннадий Горелик называет Западную цивилизацию Библейской. Я с ним согласен, только добавляю, что она еще и Платоническая. Синтезу библейской веры и платонической философской традиции обязана своим существованием и социальным статусом не только Христианская Церковь, но и новоевропейская математическая физика.

Общественная жизнь требует согласия относительно нравственных норм, без чего она превратилась бы в сущий кошмар, войну всех против всех. Какими же средствами это согласие может достигаться? В отношении нравственных норм требуются веские аргументы, ибо в основе нравственного — проблема жертвы одним ради другого. Что убедит человека пожертвовать благосостоянием, нервами, здоровьем, а то и жизнью ради исполнения долга? Этому служат сильные, захватывающие истории, пронзающие сердце, заставляющие трепетать, смеяться и плакать. Нравственные истины могут высвечиваться такими историями, либо реально происшедшими с человеком, либо почерпнутыми им откуда-то. Базовый нравственный лексикон народа и состоит из общей сокровищницы подобных историй; таковые и составляют его подлинное святое писание, даря возможность взаимопонимания, доверия друг другу, а стало быть, и процветания. Базовый лексикон народов Запада поставляется прежде всего Библией, развиваясь и дополняясь ее многочисленными рефлексиями — теологическими, философскими, художественными. Никакого небиблейского общезначимого нравственного лексикона, резервуара парадигмальных историй, на Западе не существует. Две впечатляющие попытки заменить этот лексикон на нечто иное хорошо известны и в рекомендациях не нуждаются — это сциентистский научный коммунизм и нацизм с его эклектикой сциентизма, деизма и националистического политеизма. Третья попытка происходит на наших глазах — культ политкорректности. Общее для всех этих попыток — тоталитарность, подавление свободы, и это не случайно. Базовый нравственный лексикон есть мудрость, накопленная веками в форме притч, мифов, парадигмальных историй, поэтических речений, задающих убедительную, вдохновляющую нормативную базу и оставляющих свободу конкретного воплощения. Она глубоко религиозна, монотеистична, и это не всем нравится. Нечем, однако же, эту сокровищницу мудрости заменить, как нечем заменить, скажем, поэзию народа. Поэтому любое антирелигиозное движение, приходя к власти, не имеет никакого иного средства установить минимальное согласие в обществе, кроме навязывания своих правил. Правила, в отличие от гениальных историй, не обладают силой убеждать и вдохновлять, поэтому держаться они могут лишь на принуждении и страхе. Именно поэтому любое антирелигиозное общественное

движение с неизбежностью нацелено на тоталитарность, подавление критического мышления, и тем сильнее нацелено, чем решительнее отвергается религия и неотрывный от нее базовый лексикон. Получается оно так по самой сути дела, независимо от того, отдают в этом себе отчет его вожди и энтузиасты или нет, борются они под флагом свобод, под флагом справедливости или еще под каким-то флагом. Именно поэтому Христос, расширявший свободу, бросавший вызов абсолютизации мертвеющих религиозных форм, предпочитал говорить не языком ясных и четких нравственных правил, а языком притч и таинственных заповедей, не отвергая ни единой буквы Закона и Пророков и революционизируя их в то же время.

В базовый лексикон русских людей Библия, увы, практически не входит. Ее почти не читают и не обсуждают. На библейские сюжеты не ставят фильмов или спектаклей, а если кто изредка и ставит, то это проходит совершенно незаметно. Единственным исключением является роман Булгакова, о котором речь пойдет чуть ниже. Но что же в таком случае входит в русский базовый лексикон, культурный код? Пушкин, может быть? Достоевский с Толстым? Или там только Штирлиц с Чапаевым и Рабиновичем, да еще и со Сталиным в придачу? Не знаю. Не обстоит ли дело и с Пушкиным, как с математикой? Все вроде как учат, а толку? Эпиграфом к своей последней повести Александр Сергеевич поставил пословицу «Береги платье с нову, а честь с молоду». Вся повесть есть раскрытие этой исключительно дорогой для него заповеди, но многие ли слышат ее напряженное звучание, многим ли передается оно? Или *право на бесчестие*, дарованное последователями бесноватого Петра Верховенского, сделало человека чести Петра Гринёва совершенно чуждым и неинтересным массовому читателю? Не думаю, что многие скажут, кто такие Иосиф и его братья, Иов и его друзья, Руфь и Ноеминь, Марфа и Мария. И многие ли скажут, кто такие Гринёв и Верховенский?

Булгаковский Мастер написал роман о Понтии Пилате, прокураторе римской провинции Иудея времен императора Тиберия. Михаил Афанасьевич очень подействовал вниманием к тому роману, обравив его фантазмагорией о веселых и жутких проделках группы демонических существ в Москве тридцатых годов. Воланд и его спутники устроили такую рекламу истории об Иешуа и Пилате, что те давние события стали известны русским людям скорее в изложении Мастера и Воланда, чем четырех полузабытых авторов канонических текстов. Поскольку я собираюсь сказать несколько слов о той истории и ее связи с современностью, коротко напомню ее.

Ершалаимский Совет, Синедрион, обеспокоен растущей популярностью мирного несистемного проповедника Иешуа: его несанкционированные митинги могут перейти известную черту и вызвать жесткую реакцию ОМОНа. Ради общественной безопасности, Синедрион принимает решение о смертной казни Иешуа. Приговор к высшей мере требует утверждения прокуратора; Синедрион подает дело как подстрекательство к бунту. Иешуа приводят на суд к Пилату, и тот его лично допрашивает. Бросив напоследок арестованному риторический вопрос «что есть истина?», Пилат объявляет Синедриону о невиновности обвиняемого. В ответ лидеры Совета угрожают Пилату обратиться в более высокую инстанцию, уличая его в недостаточной лояльности кесарю. Аргумент производит действие: прокуратор уступает давлению, утверждая смертный приговор. При этом он символически умывает руки: мое решение было вынужденным; нет, мол, на моих руках невинной крови. Федеральная служба исполнения наказаний приводит приговор в действие; Иешуа медленно умирает распятым на кресте.

В этой истории важно то, что вроде бы честный, ответственный Понтий Пилат уступает давлению и утверждает совершенно очевидную для него крайнюю несправедливость, которую он утверждать поначалу отказался. По роману, Пилат уступил из трусости. Но тут возникает вопрос. Выходец из плебейского рода всадник Понтий Пилат, прежде чем стать прокуратором, доблестно сражался в легионах как офицер, благодаря чему в конечном счете и получил должность губернатора. Как же доблестный воин вдруг превратился в готового на подлость труса? А если не трусость, то что же заставило этого судью пойти на облыжный приговор? Отважный офицер, ответственно относящийся к своим государственным обязанностям губернатор, внимательный и умный судья — почему же он дрогнул, поддался давлению интриганов? Ну, может быть, он решил, что справедливость менее важна, чем эффективное сотрудничество федеральной и местной власти, что политическая необходимость требует жертв. Но и не исключено, что он все же испугался — интриг, оговора, увольнения с волчьим билетом, бесчестия. Одно дело, иметь храбрость в бою за доброе дело, среди славных товарищей. Другое дело — иметь мужество стоять за правду, за справедливость, в одиночестве, да еще и с риском быть оклеветанным и обесчещенным в глазах окружающих, друзей и потомков. Сократ говорил, что подлинно справедливый человек не поступится справедливостью даже под угрозой клеветнического бесчестия, даже не сомневаясь в успехе такой клеветы. Сократ, однако, видел путь справедливости как путь спасения души для жизни в лучшем мире, но вряд ли подобные идеи были близки строителю *Pax Romana* Пилату. Вспомним еще раз его брошенное напоследок риторически-скептическое «что есть истина?», на что он, разумеется, мог получить в ответ лишь молчание, да он и не ожидал ничего иного. Для Пилата не было, судя по всему, ничего значительней, важнее, чем утверждение наиболее разумно устроенной мировой державы. Он и служил этому делу всю жизнь, не за страх, а за совесть. Но что такое жизнь одного человека перед великой идеей мирового порядка? Разве не должно меньшее приноситься в жертву большему, по наивысшей справедливости? Он не хотел этой жертвы, приложил все разумные усилия, чтобы ее избежать, но всему есть свои границы. Есть коридор политических возможностей, он задан, так что деваться некуда, надо подписывать приговор. Вины на Пилате нет: он сделал все, что от него зависело в рамках возможного, и подписав приговор своей рукой, может демонстративно эту руку умыть; видите — она чиста.

Нет, игемон. Ни у прокуратора Иудеи, ни у кого другого нет такой воды, чтобы смыла невинную кровь с рук несправедливого судьи, каковы бы ни были резоны его несправедности. Может быть, и у самого Бога такой воды нет. «Мы всегда будем вместе в памяти людей, — говорит Иешуа Пилату, — вспомнят меня — вспомнят и тебя». И действительно, лишь три имени называется в Символе Веры. Вспоминаем и будем вспоминать именно вместе: Господа и Спасителя Иисуса Христа, давшую ему жизнь Пресвятую Деву Марию и отправившего его на мучительную смерть судью Пилата из рода Понтиев.

Зачем я стал вспоминать здесь эту историю? — могут меня спросить.

Выше я говорил о значении базового нравственного лексикона, поставляемого Библией, этой сокровищницей великих историй. Вот конкретный пример, как такой лексикон может работать. Важна ли для России проблема правосудия? Есть ли история о несправедном судье, более сильная, чем эта? Много ли обсуждается она русскими людьми?

Эйнштейн видел главной и общей задачей науки и искусства пробуждение и питание *космического религиозного чувства*, благоговейного восприятия чудесной красоты мира. Мне кажется, Савел Харин и Альберт Эйнштейн прекрасно бы поняли друг друга в самом главном. Харин бы заслушивался эйнштейновской скрипкой и дивился парадоксам теории относительности, а Эйнштейн расплакался бы от харинской картинной галереи и пошел бы вместе с Савелом за Солнцем на далекую гору. Но есть и другая задача искусства, которой Савел и Альберт не слишком были озабочены, не в укор им будь сказано: выявление нравственной истины. По большому счету, есть только две темы великого искусства: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас, сущее и должное. По самому же большому счету, они сливаются в одну — ту, о которой Диотима говорила Сократу.